

Хрипунову плевать было на людей.

Хрипунов хотел стать Богом.

Что нужно человеку, решившему
стать Богом?

Имя.

Промысл.

Деяние.

Жертва.

Все это было у Хрипунова.

И он стал Богом.

Он. Им. Стал.

Часть первая

ИМЯ

Иглы. Искривленные режущие с тонким лезвием. Искривленные реверсивные режущие. Полукруглые режущие, суживающиеся к концу. Сверхизогнутые режущие. Режущие, суживающиеся к концу «грубые» в виде рыболовного крючка. Прецизионные, реверсивные режущие изогнутые. Прямые режущие. Троакарные полукруглые «грубые»

Аркадий Хрипунов — это звучало, как будто кто-то раздавил в кулаке грецкие орехи. Хорошо это звучало — Хейман Штейнталь наверняка остался бы доволен, если бы, конечно, хрипуновская мама была способна произнести слово «ономатопоэтическая». Но она, слава Богу, была не способна — она родилась счастливой и умерла счастливой, всю жизнь мирно проносив в немудреной крови неведомую генетическую червоточину.

Ей повезло.

Хрипунову — нет.

Вообще-то хрипуновский папа хотел назвать сына Ванюшкой. Хрипуновская мама не возражала — она была внучкой, дочкой и женой заводских алкоголиков, это, знаете ли, больше, чем психология, — это судьба. И быть бы Хрипунову банальным Иваном, жить в бараке, пить беленькую, загибаться на заводе да укачивать на ночь каменистой ладонью застарелый злой цирроз, если бы не два человека — Аркадий Гайдар и Хасан ибн Саббах.

Про первого хрипуновская мама что-то слышала в школе — но забыла. И не вспомнила бы, если б хрипуновский папа в одно прекрасное утро не взвесил мрачным взглядом неподъемное женино пузо, чреватое будущим наследником, и не пошел в завком — орать и бить кулаком по растрескавшейся полировке крепкого начальственного стола. Завком дрогнул под натиском дистиллированной пролетарской ярости и через месяц одарил ожидающую приплода чету ордером на двухкомнатную темную конуру на первом этаже облезлого дома — купеческой еще, стародавней, окраинной постройки. Именовалось все это великолепие: ул. Дружбы, д. 39, кв. 12.

До Хрипуновых в квартире проживали евреи, вполне советские, мирные, ручные — в микрорайоне ими даже гордились, как местной достопримечательностью, потому как никакой другой экзоти-

ки поблизости сыскать было нельзя — а евреи вот они, они всегда под рукой. Местная урла евреев не обижала, но пару раз в месяц аккуратно била им все окна. Не по злобе, а потому что на звездный звон и хруст медленно падающих в ночь стекольных пластов выскакивало из освещенного розового нутра квартиры сразу все еврейское семейство, включая полоумную старуху Марию Исааковну, лет пятьдесят преподававшую в местной СОШ № 5 русскую литературу. И в этом ломком звоне и хрусте, в этих гортанных выкликах, в этом внезапном появлении из света в глухую, лопочущую листвой темноту было столько волшебного, завораживающего, почти театрального, что урла потрясенно замирала в ближайших кустах, ощущая, как сладко и томительно сосет под ложечкой странная, вращающаяся пустота.

Потом бархатный занавес медленно опускался, обдав зрителей тяжелым пыльным вздохом, и урла, слегка стесняясь пережитого катарсиса, вылезала из кустов и враскачку шла к волшебной квартире — цыкать зубом и принимать от профессионально глухой и профессионально же приветливой Марии Исааковны дежурный стаканчик — мутненький, граненый, в мирное время простодушно служивший еврейскому семейству пристанищем для детских цветных карандашей.

Как же, Марисакна, спасибочки, все помню — «жы» пиши с буквой «ы», «чу» пиши и все такое. И не говорите — скока развелось кругом хулиганья! А Костик-то? Не, все сидит, да... Он бы живо их, того... Ну, в смысле... чё, сёдни будем вставлять или до завтра переможетесь?

Зимой, заметьте, стекла не били никогда. Понимали. Деликатно терпели до весны — одинокие, угрюмые, низкорослые, тоскующие без единственного в мире по-настоящему прекрасного чуда. Алкали душой. Жаждали. Ждали.

Пока не дождались суетливого исхода, деревянных ящиков, чемоданов, неопрятных узлов, которые все выносили и выносили из подъезда, как будто там, в квартире, был бесконечный морг, который потребовалось срочно освободить к ноябрьским праздникам. И не успела захлопнуться за евреями государственная граница, как в брошенное жилище въехали Хрипуновы.

Квартира, манившая своим кукольным застольным уютом всю местную шпану, лежала, вскрытая, как разоренный курган, жалко выставившая на всеобщий обзор вспоротое брюхо и предсмертно перемешанные культурные слои. Рассохшиеся доисторические резинки, стискивавшие чьи-то выпуклые пахучие ляжки, очёски седых скрипучих волос, накрест схваченные бе-

чевкой, пачки школьных тетрадей, молоток, еще столетие назад потерявший деревянную ручку, какие-то ломкие от старости облигации довоенного займа, изувеченные игрушки и даже не пожелавшая эмигрировать мельхиоровая ложечка, дальновидно шмыгнувшая под плинтус, откуда ее ловко извлек веселый грузчик, нанятый Хрипуновым заносить шкаф и буфет. Извлек и с профессиональной ловкостью уронил в карман, мимоходом вытирая о штаны пыльные пальцы: грязно оказалось у евреев, просто тихий ужас, настоящий свинарник, и видно, что не потому грязно, что укладывались, а потому, что сроду не убрались по-человечески. Ни разу за все свои шесть тысяч лет.

Хрипуновский папа мрачно матерился, наддавая плечом, надсаживаясь, вставляя в простенок продавленный супружеский диван (когда-то красный, теперь просто потертый до цвета благородного бордо), на котором был в свое время зачат по пьяному шалому делу маленький Хрипунов, на который маленький же Хрипунов перебрался, когда перерос свою детскую зарешеченную кроватку, и на котором — спустя энное количество лет — хрипуновскому папе предстояло умереть. От цирроза, разумеется. А от чего еще умирают простые русские люди?

Всех глухо злила эта годами пластовавшаяся грязь, эта изнанка чужой, неинтересной жизни — и хрипуновского папу, и грузчика, и хрипуновскую старенькую мебель, не желавшую втискиваться в непривычное пространство, пропитанное ароматами неопрятной старости и просроченных специй. Даже маленький Хрипунов изнутри толкал негодующей ногой красную, до звона натянутую стенку матки.

И только хрипуновская мама, придерживая двумя руками тугое, выпуклое, байковое пузо, бродила среди осиротевших вещей с плывущим от умиления лицом и изумленно таращилась выпученным пупком то на выпотрошенную, зияющую малиново-бархатным нутром готовальню, то на валяющуюся на полу детгизовскую книжку, вполне крепенькую, лишь чуть, самую малость, потрепанную по обшлагам.

«Аркадий Гайдар, “Голубая чашка”» — она не спеша проехала взглядом по названию, произвольно пришептывая (как будто помогая себе читать) большими мягкими губами, размытыми по краям полноценной беременностью. И так же не спеша присела, крепко расставив круглые голые колени и удобно свесив между них основательный живот, — поднять занятную книжицу и припрятать от мужа, чтобы потом, когда ма-

ленький родится и немного подрастет, читать ему вечером, водя по строчкам сморщенным от только что вымытой посуды пальцем и ощущая, как мягко уперлась в бок головенка прикорнувшего под мышкой сонного детеныша. И в доме пахнет пирогом с капустой и картошкой-пюре (на молоке и на сливочном масле), а от детских волос — даже сквозь теплые кухонные запахи — доносится отчетливый аромат солнца и теплых птичьих гнезд. Запах, который лучше любой метрики скажет женщине, что ребенку еще не исполнилось пяти лет. И что он пока весь-весь — от завитка на макушке до аппетитной складочки под жирными ягодичками — мамин. Мамина игрушка.

Распрямиться она не успела, маленький Хрипунов еще раз с размаху ударил ее ногой в живот, да так ловко, что сам перевернулся в своем круглом пристанище и, зависнув на мгновение вниз головой, почувствовал, как привычный алочерный мир испуганно вздрогнул, словно сдвинулись какие-то невиданные тектонические пласты, и вдруг начал ритмично пульсировать и сложно содрогаться. И с каждой волнистой судорогой, с каждой мощной спазмой к Хрипунову начал снизу приближаться странный бледный свет, похожий на воронку, все быстрее вращающийся то посолонь, то против, так что в момент

внезапной смены противотока казалось, что это не воронка даже, а бешено вращающиеся винтовые ножи, вроде тех, что стоят в огромных, промышленных, электрических мясорубках.

Хрипунов попытался уклониться от этого света, натужно упираясь руками и ногами в крупно дрожащие стены, но свет нажимал, и Хрипунов обреченно обмяк и зажмурился, чтобы не видеть, как наливается желтым глаз приближающегося Апокалипсиса и как спешит к выходу немолодой, кривоногий, коренастый ангел с неясным, но очевидно азиатским лицом, что-то торопливо дожевывая на ходу и вытирая о затуманенные, покрытые мельчайшей изморосью крылья крепкие, узловатые пальцы — те самые персты, которыми следовало замкнуть измученному новорожденному всезнающие уста.

*Иглы. Полукруглые колющие. Колющие «грубые»
Мэйо. Изогнутые колющие. Колющие изогнутые на
5/8 окружности. Прямые колющие. Изогнутые с ту-
пым концом*

Хрипунов-папа и заметно сбледнувший с лица веселый грузчик выволокли из квартиры мычащую от боли хрипуновскую маму — тороп-

ливо, но плавно, словно несли футляр от контрабаса, неуклюжий, неподъемный, но скрывающий внутри нечто бессмысленное, хрупкое и, по слухам, страшно дорогое. Мебельный фургон — слава-те! — никуда не делся, стоял на углу. Шофер, немолодой мужик с простым картофельным лицом, терпеливо спал в кабине, закинув храпящую, клопочущую пасть и уронив на руль набрякшие руки. От барабанного стука в дверь он немедленно пробудился и с готовностью включился в бессмысленную суету вокруг роженицы, которая, повиснув на руках у двух растерянных, потных мужиков, вдруг поджала колени и начала сложно и мучительно сокращаться — будто гигантская креветка или гусеница, к которой поднесли бесцветный, дневной, спичечный огонек.

Шофер, движимый мужским ужасом и могучей силой профессиональной инерции, попытался было затолкать хрипуновскую маму в фургонную, хлопающую брезентом тьму, но, ловко обложенный с двух сторон хуями, сменил направление; и втроем, крикая и сопя (грузчик и Хрипунов-старший по бокам, причитающий шофер с тылу), они таки вставили хрипуновскую маму в кабину и, еще пару минут бестолково побегав вокруг фургона, с места на второй передаче рванули в роддом.

В дороге хрипуновскую маму немного отпустило, и она даже поулыбалась виновато, пытаясь устроиться поудобнее и тыкаясь толстыми глуповатыми коленками в тесную приборную доску, щедро разукрашенную аляповатыми овалами переводных германских девушек с роскошным оскалом и ухоженными, несоветскими волосами. Взмокший шофер с сосредоточенной яростью крутил выпрыгивающий из рук руль и автоматически, как мантру, бормотал — ты, того, дочка, того, дочка, того... — изредка с брезгливым и жадным любопытством косясь на хрипуновскую маму, словно на полураздавленную колесом издающую кошку.

Перед самым роддомом машину тряхнуло на колдобине так, что взвинченный шофер громко, как зевнувшая дворняга, лязгнул зубами, а в фургоне, гремя локтями и дружно покрывая яростным ёбом всю родную советскую власть, посыпались друг на друга Хрипунов-старший и грузчик. Хрипуновская мама, совсем было успокоившаяся и даже повеселевшая, почувствовала, как судорога, задремавшая внизу ее осевшего как весенний сугроб живота, проснулась и с новой хищной силой вцепилась в позвоночник. Поскорей бы, дяденька, проскулила она, не дотерплю, ей-бо, не дотерплю... И тут новый спазм рванул из-

нутри ее намученное тело, рванул — и прямо сквозь белые просторные трусы выдавил на пол унизительно теплую неостановимую струю.

В обитель материнства хрипуновская мама приехала с плавающими от эйфорической боли зрачками и долго не могла понять молоденькую раздраженную врачиху, которая твердила что-то про амниотическую жидкость. «Да воды у тебя отошли или нет, Господи ты Боже мой!» — взорвалась, наконец, докторша и, услышав, что — да, отошли, еще в машине, и что водителю пришлось дать за это целый рупь, потеряла к хрипуновской маме всякий научный и медицинский интерес, спихнув ее на руки толстой медсестре в потрескивающем на тугих боках белом халате.

Медсестра, веселая разбитная жлобовка, проворно повлекла хрипуновскую маму по всем кругам роддомного конвейерного ада — клизма, бритье лобка, душ, праздник переодевания в линялую сорочку с больничным клеймом, — и все это с прибаутками, хиханьками и садистским, вполне палаческим матерком. Хрипуновская мама, поминутно вытирая мокрый ледяной лоб, бормотала — та я сама, я сама все — и натужно улыбалась: медсестру никак нельзя было злить, она могла подменить ребеночка, подсунуть какого-нибудь с кривыми ножками и заячьей губой, а то

уронить маленького на кафельный пол, а потом сказать, что такой родился, — соседки говорили, в роддоме еще не такое вытворяют.

В разгар всеобщего веселья в дверь процедурной заглянула акушерка — с целью пригласить толстую медсестру на бизнес-ланч, состоящий из чая с рафинадом и загорелых баранок. А что? В двенадцать часов в роддоме все пили чай — чего тут такого? Наличие кряхтящей от муки Хрипуновой акушерку огорчило, но не слишком. Она сама была трижды мамаша Советского Союза и потому знала: рожать — дело хоть и добровольное, но тягомотно долгое. Иную первородящую распинало и корежило на дыбе высоких материнских чувств часов этак по двадцать с лишним. А ежели первородок десять? Да еще три палаты пузатых клуш на сохранении? Нет, ежели из-за каждой трёсом исходиться, не то что чая не попьешь — на двор поссать выскочить будет некогда. Потому акушерка изобразила губами нечто вроде медного гонга, зовущего гостей к праздничному столу.

— Ща, — радостно откликнулась медсестра, девка холостая, нерожавшая, а потому относившаяся к бабьим страданиям с замечательно-профессиональным равнодушием. — Йодом ей тута намажу. А то мало ли... Давай, растопыривайся, мамаша. Покажь, бля, свои родовые пути.

Соскучившаяся ждать акушерка подтянулась поближе и с ленивым, чуть брезгливым любопытством заглянула в свежевыбритую, расцарапанную промежность хрипуновской мамы. Оттуда на нее, прямо сквозь цианозное, напряженное, болезненное и воспаленное даже на вид, смотрел кусочек пульсирующей макушки, покрытый слизью и длинными, как водоросли, липкими волосиками.

— Офуела... — сразу севшим шерстяным голосом прошептала акушерка, завороченно глядя на кровавое таинство, — совсем офуела... — И, с места взяв верхнюю октаву, заорала: — Какой, на хер, йод! Головка прорезывается! Она рождает давно, а ты, бля, со своим йодом!

И обмякшую Хрипунову, собирая трубными криками бригаду и распугивая блуждающих по коридору животастых рожениц, в очередной раз то волоком, то под руки потащили в родзал.

До полудня оставалось всего ничего. Каких-то двенадцать минут и семь секунд.

Врач, дородная, с мелко плоёным перманентом и невиданными в те скромные годы золотыми сережками (между прочим, супруга главного инженера), хоть и принадлежала к самым заоблачным высям феремовской элиты, но — по природе своей — тетка была невредная.